

Jewhen Nachlik

Пушкин в рецепции Михала Грабовского и Пантелеймона Кулиша

Acta Polono-Ruthenica 3, 303-312

1998

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Jewhen Nachlik

Lwów

Пушкин в рецепции Михала Грабовского и Пантелеймона Кулиша

Несколько лет назад я уже опубликовал два своих материала, посвящённые исследованию темы *А. Пушкин и П. Кулиш*: тезисы доклада *А. Пушкин и П. Кулиш (проблема литературных влияний и типологии)*, с которым я выступил на научной конференции *Пушкин и Крым* в 1989 г.¹, и статью *Больше всего полюбили мы... Пушкина...* в киевском журнале „Радуга” (1992, нр 9, с. 121-126). В тезисах, целью которых была постановка проблемы, кратко очерчены её различные аспекты (компаративистские, типологические, рецептивные), а в статье более подробно рассмотрены творческие интерпретации пушкинских мотивов и образов в украинской поэзии Пантелеймона Кулиша (1819 - 1897), особенности его перепевов отдельных стихотворений Пушкина, в котором он видел европеизатора русской литературы и поэзия которого помогала ему европеизировать родную украинскую литературу, в частности, прививать ей силлабо-тоническое стихосложение.

В настоящем докладе предлагаю освещение ещё одного аспекта этой темы, на сей раз связанного с кулишёвским переводом на русский язык размышлений о пушкинском творчестве польского литератора Михала Грабовского (1804 - 1863).

Последний оказал заметное влияние на формирование литературно-эстетических взглядов П. Кулиша, в частности, на его рецепцию пушкинской поэзии в 40-е годы. С Грабовским Кулиш познакомился в 1843 г. в имении этого помещика в селе Олександровка на Чигиринщине (в 1847 г. своё путешествие к Грабовскому

¹ Е. К. Нахлик, *А. Пушкин и П. Кулиш (проблема литературных влияний и типологии)*, [w:] *Крымская научная конференция „Пушкин и Крым”: Тезисы докладов. 24-29 сентября 1989 года*, Симферополь 1989, s. 73-74.

Кулиш описал в первой - и единственной - части стихотворного романа на русском языке *Евгений Онегин нашего времени*, где представил своего польского коллегу в образе археолога Виговского). Между обоими писателями-романтиками - уже признанным представителем „украинской школы” в польской литературе и подающим надежды дебютантом, автором вальтерскоттовского романа *Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад* и поэмы-„эпопеи” *Украина* - сразу же завязались теплые творческие отношения. *Pan Michał*, вспоминал Кулиш, „принял меня не как европеец невежественного азиатца, а как старший брат оставшегося без воспитания младшего брата”². Лишенный возможности получить университетское образование (из-за того, что не смог доказать свое дворянское происхождение), Кулиш в непринужденном общении с Грабовским и его друзьями-соотечественниками получил не одну прекрасную возможность обогатить свой культурный кругозор. „Всё, выработанное польскою интеллигенциею, всё, усвоенное ею от Европы путем культуры, делалось моим достоянием чрез посредство Михаила Грабовского”, - признавал благодарный Кулиш в 70-е годы.³

С особенным уважением относился Кулиш к литературно-критическим суждениям Грабовского. В письме к М. Юзефовичу 8 февраля 1861 года он назвал польского писателя „лучшим и независимейшим критиком из всех, являвшихся в нашем обществе”⁴. В книге-исповеди *Хуторская философия и удалённая от света поэзия* (1879) Кулиш особо отметил положительное влияние на него Грабовского как критика: „Без умысла учил меня Грабовский приёмам критики, каких не представляет и в наше время русская литература, воображающая, что ребёнок Писарев способен был критиковать Пушкина, что тёмный книгоед Добролюбов был способен разрешать важнейшие социальные вопросы; что фанатик-нигилист Чернышевский был вторым Лессингом”.⁵ Кстати, о резко отрицательном отношении Кулиша к пренебрежительной оценке Пушкина Пи-

² П. А. Кулиш, *Хуторская философия и удалённая от света поэзия*, Санкт-Петербург 1879, s. 85.

³ *Ibidem*.

⁴ „Киевская старина”, 1899, ks. 3, s. 322.

⁵ П. А. Кулиш, *Хуторская философия...*, s. 86.

саревым в статье *Пушкин и Белинский* (1865) свидетельствует ещё одно высказывание в той же *Хуторской философии...* - в одном из примечаний автор заметил, что „перестал читать русские книги с того времени, как великий русский критик Писарев [пределение „великий” употреблено здесь с иронией - Е. Н.] объявил Пушкина печатно не только подлецом, но и дураком”⁶. А в автобиографической поэме *Куліш у неклі* (1890 - 1896) Кулиш причислил Писарева, пытавшегося ниспровергнуть с литературного пьедестала Пушкина („[...] Писарев, що дурнем звав, Та ще й ледащом, чоловіка, Що був краса й шаноба віка, Мов соловей Боян співав”), к ряду „всіх брехунів в Москві і на Русі” и в иносказательной структуре произведения поместил его в ад.⁷

Возвратимся к влиянию литературно-критических взглядов Грабовского на Кулиша. Оно сказалось, в частности, на неоднозначной, весьма критической трактовке последним так называемых украинских повестей Гоголя (эта проблема заслуживает отдельного исследования) и на его (Кулиша) восприятии лиро-эпической поэзии Пушкина.

В первом томе своей книги *Literatura i krytyka*, озаглавленном *O szkole ukraińskiej poezji* (Вильно 1840), Грабовский сравнивал, в частности, пушкинскую поэму *Полтава*, созданную на материале из украинской, точнее, украинско-русской истории, с произведениями так называемой - с легкой руки того же Грабовского - украинской школы в польской литературе (А. Мальчевский, Ю. Б. Залесский, М. Мохнацкий, С. Гошинский, А. К. Гроза, Т. А. Олизаровский). Сравнение это, сделанное с точки зрения правдивого отражения исторического бытия и души украинского народа, местного колорита, оказалось не в пользу пушкинской поэмы. „Za jedno z głównych praw do wielkiej sławy istotnie bardzo znakomitego rosyjskiego poety Puszkina mają niektórzy (nie ja), - декларировал свою особую позицию Грабовский, - roemat jego *Poltawa* [...]”. Вкратце воздав должное определенным художественным достоинствам *Полтавы* („Poemat ten winien swą wziętość wielu istotnie pięknym miejscom, które nie mogły nie powstać spod pióra tego twórczą siłą obda-

⁶ Ibidem, s. 163.

⁷ П. Куліш, *Куліш у неклі: Небрешина поема Панькова*, [w:] П. Куліш, *Твори: В двох томах*, Київ 1994, t. 2, s. 224.

rzzonego człowieka; takimi są niektóre opisy bitwy, figura Piotra W. i inne), Грабовский сразу нелицеприятно заметил: „Ileż jako mało-widło Ukrainy zachował on tylko profil publicznego historycznego wypadku, na prywatny zaś byt tej krainy, na szczególny charakter mieszkańców, ich zwyczaje, wszystko co malowną powierzchowność narodów i krajów stanowi [...], nie przelano najmniejszego światła”. Согласно пронизательным наблюдениям польского критика, „Figury działające według swych tylko nazwisk i znajomych przygód życia, są ukraińskie, ale w ich mowie, w pobudkach czynności, nie słyhać najmniej przyrodniego ich charakteru, nie znać właściwego im wtedy stopnia uobyczajenia, który był jednym z najcharakterystyczniejszych i w dzikiej swojej prostocie z najspodobniejszych do wydatnego kształtowania w poezji”.

Почти постоянно живущий на Украине, Грабовский увлечённо изучал и хорошо знал фольклор, нравы, обычаи, быт, историю и национальный характер украинского народа и, следовательно, имел все основания упрекать автора *Полтавы*, у которого были весьма поверхностные представления об Украине, в отходе от исторической правды, в книжном характере изображённых в поэме украинцев („Przynajmniej według mego osobistego zdania, *Mazepa* i piękna *Maria Koczubejówna* nikogo bardziej nie przypominają jak Dożę i Dogaresę z dramatu *Marino Faliero*, a jednak daleko z Wenecji do Połtawy”, - иронизировал Грабовский). Уязвимым местом поэмы критик считал также слишком общие, традиционные эпитеты, обозначающие местность действия („Samą nawet miejscowość ukraińską lekko i pobieżnie zbywa poeta, racząc ją ogólnymi przymiotnikami: *nieobejrzone pole*, *siny Dniepr*, *noc ukraińska*, co ostatnie jedynie ma niejakię znaczenie przywołując sobie na pamięć, że poeta musi porównywać w umyśle swoim noc tutejszą z surowszą nocą północy”). Придирчив к хронологически точному отражению исторических деталей, Грабовский высказал интересное замечание, будто бы Пушкин, изобразив ряды тополей в саду возле гетманской резиденции, допустил исторический анахронизм: „Топола włoska sprowadzona została na prawy brzeg Dniepru [...] nie prędzej jak w drugiej połowie 18 wieku [...]. Nie zdaje mi się, żeby raniej przeszły na brzeg lewy; gatunek zaś przyrodniej Ukrainie topoli, tak nazwany *osokor*, jako nie mający architektonicznych kształtów swojej siostrzycy a rosnący jedynie po nizinach, nie bywa używany do obsadzania domów i wjazdów do nich. Ten drobny

szczegół dowodzi, - делал вывод Грабовский, - że *Puszkina* w poemacie swoim (choć grzeszącym opisami) nie kochał się tak jak nasi niektórzy poeci w ukraińskich widokach, i jego *Połtawa* dla wyżej wzmiankowanych zalet może się zapewno liczyć do pięknych dzieł jego własnych i drugich rosyjskich poetów, ale nie odstaje od nich w najmniejszej mierze jako utwór osobnej szkoły”⁸.

К этим весьма серьезным упрекам в отходе от исторической правды в *Полтаве* Грабовский присовокупил обширное примечание под отдельным заглавием *Nota o Puszkinie*, в котором подробно изложил свое эстетическое понимание некоторых других лиро-эпических произведений Пушкина. „Dozwoliwszy sobie uczynić kilka zarzutów obcemu poecie, należałoby, według przyjętego zwyczaju, usprawiedliwiać tę krytyczną śmiałość”, - так примирительно начиналась упомянутая „нота” учтивого Грабовского⁹, имеющая в целом, в отличие от критического рассмотрения *Полтавы* в основном тексте книги, весьма лестный характер.

Эту похвальную „ноту о Пушкине” Кулиш по собственной инициативе почти полностью перевел на русский язык и под заглавием *Отзыв Грабовского о Пушкине* напечатал в редактируемом Плетнёвым „Современнике” (1846, нр 2). В очень кратком вступительном слове, опубликованном без подписи, переводчик высказал убеждение, что „читателям нашим, без сомнения, любопытно будет узнать мнение знаменитого критика о произведениях [...] гения нашей литературы - Пушкина”, - и дальше объяснил, где и как появилось это „мнение”. „Разбирая один современный вопрос в книге своей *Литература и критика*, Грабовский коснулся мимоходом *Полтавы* Пушкина - и, чтоб вполне представить публике взгляд свой на великого русского поэта, он поместил в конце книги особое примечание о некоторых его сочинениях. Это примечание, как отдельную статью, мы приводим здесь для читателей «Современника»”¹⁰. Как видим, Кулиш во вступлении фактически утаил существование в книге Грабовского критической оценки *Полтавы*, ограничившись

⁸ [Grabowski Michał], *Literatura i krytyka. Pisma M[ichała] Gr[abowskiego]*, t. 1: *O szkole ukraińskiej poezji*, Wilno 1840, s. 35-37.

⁹ *Ibidem*, s. 101.

¹⁰ [П. Кулиш], *Отзыв Грабовского о Пушкине*, „Современник”, 1846, т. 41, нр 2, s. 234.

вместо этого указанием на якобы только нейтральное эпизодическое упоминание о ней (мол, „Грабовский коснулся мимоходом *Полтавы*”). В переводе „ноты”, к тому же, нет первого извинительного предложения Грабовского, а сразу же приводятся его преимущественно похвальные суждения о пушкинских поэмах. Например, о *Бахчисарайском фонтане* в *Отзыве Грабовского о Пушкине* читаем, что хотя эта поэма „не имеет собственно драматического развития”, а „представляет только ряд картин”, всё же в целом - „это прекрасная картина во вкусе восточных поэм Байрона”.

Весьма острый и требовательный критик, Грабовский не был бы самим собою, если бы в эстетическом анализе пушкинских поэм не указал на отдельные недостатки некоторых из них. Впрочем, констатация этих несовершенств в „ноте” всегда заканчивается высокой оценкой той или иной поэмы в целом. Так, высказав мнение, что *Кавказский пленник* „вредит себе слишком длинными, хотя и прекрасными описаниями природы и обычаев горских”, польский критик тут же добавил: „Впрочем, вторая половина повести почти вся исполнена достоинств”. „Несравненно выше обеих первых поэм” Грабовский ставил *Цыган*. „Эта поэма, - объяснял он, - гораздо свежее и оригинальнее. В ней виден уже художник опытный, который не хочет более поэтизировать предметы по известному указанному ему образцу, и видит поэзию в простоте и истине, который сознает, что имеет собственный поэтический взгляд, открывающий ему неисчерпаемые красоты окружающей его природы, и убежден, что все будет художественным произведением, во что ни облечётся этот взгляд его. Отныне это становится искусством Пушкина - пора, в которую художник доходит до такого сознания, есть для него пора спокойствия, силы и богатства”. Особенно привлекла Грабовского в *Цыганах* эстетизация простых вещей и высокохудожественная простота поэмы: „[...] об этом диком семействе, которое поселил посреди диких, пустых полей, рассказывает он нам простую и дикую повесть, чистое произведение цыганского быта [...] проста основа повести. Все обстоятельства её также просты и верны самым грубым обычаям”.

Согласно оценке Грабовского, „небольшая поэма *Братья-разбойники* имеет те же достоинства, как и *Цыганы*. В ней слог свежий, мужественный, слог созревшего художника, где нет лишнего

слова, где нет черты, которая бы не была необходима для картины и не усиливала обдуманного поэтом действия на читателя”.

Но „выше всех сочинений Пушкина” Грабовский ставил „стихотворный роман” *Евгений Онегин*, казавшийся ему „поэмой, совершенно вроде байроновского *Дон-Жуана*”. В духе своего времени свободно жонглируя жанровыми терминами „роман” и „поэма”, Грабовский с восторгом писал, что „здесь каждое слово носит на себе печать таланта. [...] при кажущейся беспорядочности этой поэмы и охоте автора переходить к посторонним предметам и мечтам, нужно сказать, что это превосходный роман, завязанный просто, но отлично развитый и доведённый до конца”. Увлечённый пушкинским творением, Грабовский высказал о нем ряд тонких и проницательных наблюдений, которые стоит привести: „Пушкин везде тут непринужденно натурален. [...] вещим умом господствует он в целости своего творения, а в исполнении его владеет и тем искусством пластического поэта, что, где захочет начертать картину, сцену, фигуру, разговор, служат ему к тому самые короткие и простые слова, тогда как сцена полна драматического движения, люди живут и говорят языком и даже акцентом своего века, состояния и характера”. „Особенное свойство поэзии Пушкина” Грабовский усматривал в том, что „он соединяет два рода ее, называемые некоторыми *объективным* и *психическим*, или, вернее сказать, что он владеет ими попеременно, то есть постоянно переходит от одного к другому [...]. Это особенное свойство причиной тому, - считал Грабовский, - что поэмы, в которых он соединяет эти два элемента, облечены необыкновенною прелестью и стоят несравненно выше других”. В качестве примера польский критик указывал на *Домик в Коломне*: „Повесть эта основана на пустом анекдоте, на шутке, по-видимому, ни к чему не годной, однако ж, по моему мнению, имеет великую цену, ибо тут под наружностью смеха и иронии не могла утаиться неотступная меланхолия и глубокость духа поэта”.

Возвратившись затем вновь к *Евгению Онегину*, Грабовский перешел на патетическую тональность и посвятил этому произведению и его автору вдохновенные строки: „Роман этот есть жизнь и её истинные происшествия; это история всякого из нас [...]. Эта картина света и жизни непременно должна быть истинною поэ-

зиею, ибо их изображает человек, так понимающий жизнь, так глубоко заглядывающий в сердце, одарённый такою гибкою и здравою мыслительностью, одарённый такой поэтической душою! [...] нет здесь другой поэзии, кроме той, которая невольно вытекает из самого предмета - и как много здесь этой поэзии! [...] здесь много и местного колорита, а в этом отношении *Онегин* есть поэма и историческая, и народная, ибо и настоящее время принадлежит истории, ибо и самая новая народность есть народность”.

В эстетической оценке *Евгения Онегина* Грабовский исходил из представлений, которые наиболее точно, на мой взгляд, следовало бы определить как переходные от романтизма к классическому реализму XIX века. К такому выводу побуждают и вышеприведенные суждения критика, и, в особенности, нижеследующее, свидетельствующее о том, что в пушкинском романе он видел не только художественную естественность и жизненную правду, но и отклики творческого метода и мировосприятия Байрона, причем не только раннего, но и позднего, эволюционирующего к реализму (*Дон-Жуан*). Согласно наблюдениям Грабовского, в *Евгении Онегине* „веет воздух” „первой четверти нынешнего столетия”: „довольно указать на ту особенность - на байроновский колорит высокого тона и модных понятий. [...] всё в *Евгении Онегине* имеет высокую цену по своей естественности, по отсутствию насильственного авторства, преувеличений и гримас; всё потому только поэзия, что представлено так точно, как оно есть в самом деле”¹¹. Этот переходный - от романтизма к реализму - характер эстетического подхода Грабовского был адекватен, по моему мнению, такому же переходному характеру пушкинского романа.

Увлечённые размышления Грабовского о *Евгении Онегине*, переведенные на русский язык Кулишем, несомненно, повлияли на его увлечение этим романом и оказались одним из импульсов, побудивших Кулиша спустя несколько лет взяться за написание автобиографического романа „онегинской строфой” *Евгений Онегин нашего времени*. В оригинале *Nota o Puszkynie* Грабовского заканчивалась следующим извинительным пассажем: „Czułem, że słabe dałem wyobrazenie o utworach Puszkina, a szczególnie o poemacie, o któ-

¹¹ Ibidem, s. 235-244.

gym przed chwilą mówiłem [имеется ввиду *Евгений Онегин*. - Е. Н.], ale może i tego będzie już zanadto. - Wciążniony zostałem w te uwagi chęcią przekonania, że nie brak szacunku dla geniuszu Puszkina dowiódł mnie do zarzutów przeciwko poematowi jego *Poltawa*. Niewielu dzisiejszych pisarzy zda mi się mieć prawo stanąć w równi ze znakomitym autorem *Oniegina*, a zwłaszcza jako z autorem *Oniegina*".¹² Эти заключительные слова в переводе Кулиша, опубликованном в „Современнике”, отсутствуют. Несмотря на то, что Грабовский отнюдь не отрицал художественно-эстетической ценности *Полтавы*, в *Отзыве Грабовского о Пушкине* оказались изъяты не только его обширные критические замечания относительно этой поэмы, но даже малейшие упоминания о них в „ноте”. Таким образом, читателям петербургского журнала был предложен едва ли не всецело похвальный отзыв польского критика о лиро-эпике Пушкина.

Возникает вопрос: кто явился инициатором такого выборочного, тенденциозного, одностороннего представления на страницах „Современника” суждений Грабовского о творчестве Пушкина - Кулиш или Плетнёв? Кулиш, конечно, мог иметь свои соображения к тому, чтобы прибегнуть к купюрам: преследуя цель ознакомить русских читателей с образцами литературной критики своего наставника и друга, он, естественно, хотел представить „знаменитого критика” в наиболее выгодном свете, и потому мог мистифицировать его как благоговейного ценителя пушкинского гения. Но сокращения мог сделать и Плетнёв, безразличный к Грабовскому, с которым он не был знаком и произведения которого не читал, но отнюдь не равнодушный к Пушкину, который был его другом и остался его поэтическим кумиром на всю жизнь. Не исключено, что Плетнёв не воспринял критической оценки *Полтавы* польским критиком. Во всяком случае, даже если бы сам Кулиш не ознакомил редактора „Современника” с этой оценкой, то последний, прочитав вступительное слово Кулиша к предложенному ему *Отзыву Грабовского о Пушкине*, должен был бы поинтересоваться, каким же все-таки образом „Грабовский коснулся мимоходом *Полтавы* Пушкина” в книге *Literatura i krytyka*. Наиболее правдоподобно, что купюры в суждениях Грабовского о Пушкине Кулиш и Плетнёв согласо-

¹² [Grabowski M.], *Literatura i krytyka...*, s. 116-117.

вали между собой. Следует, однако, поискать автограф кулишёвского перевода: не прольёт ли он дополнительный свет на эту проблему?